Даугавпилс: VII Славянские чтения

Семь лет тому назад, весной 1996 г. в рамках проводимой в Даугавпилсе Недели славянской культуры состоялась однодневная конференция с участием литературоведов, лингвистов, историков. Она положила начало ежегодным Славянским чтениям. Ставшие традиционными, международные встречи славистов обрели свой собственный характер и обзавелись изданием своих материалов: за первым выпуском (2000) последовал второй (2002). Очередные, седьмые по счету Славянские чтения прошли 23–25 мая 2002 г. Устроитель чтений, как и в прошлые годы, – Центр русской культуры (Дом Каллистратова) в теснейшем сотрудничестве с кафедрой русской литературы и культуры Даугавпилсского университета при поддержке и содействии Даугавпилсской городской думы и консульства Российской Федерации.

Едва ли не главной особенностью даугавпилсских форумов видится в широте тематики докладов – от проблем взаимодействия народных обрядов до литературы наших дней, от принципов донаучной этимологии (Павел Клубков, Петербург) до отражения особенностей быта военного времени в частных объявлениях русской печати Латвии 1942–1944 гг. (Борис Равдин, Рига). Возможно, как раз из-за того, что участники свободны от обычно предполагаемых тематических ограничений, научный уровень и занимательность выступлений на Славянских чтениях оказываются высокими на зависть. И, чувствуя себя приобщенным к живому биению мысли коллег, не без удивления обнаруживаешь в себе самом интерес к далеким, пожалуй, от повседневных своих занятий штудиям.

Бронислава Кербелите (Вильнюс) начала конференцию докладом о принципах классификации мифологических сказаний и вариациях мифологических персонажей в восточнославянском и литовском фольклоре. Из доклада Янины Курсите (Рига) следует, что обширный пласт латышского фольклора связан с фигурой Петра Первого. Реальный Петр бывал в Риге девять раз, но в народную словесность латышей он вошел едва ли не исключительно сюжетом осады Риги, в отдельных компонентов которого обнаруживаются параллели в преданиях (например, о строительстве Риги), в сказках (например, о батраке) и текстах иных жанров в латышском и русском фольклоре. Старообрядческий волочебный обряд, т. е. пасхальный обход дворов, сохранившийся в приграничных районах Литвы и Белоруссии, его отличия от аналогичного белорусского обряда, его происхождение и степень сохранности – тема выступления Юрия Новикова (Вильнюс).

При всей, на нынешний вкус, анекдотичности донаучной этимологии, отметил Павел Клубков (Петербург), она отнюдь не произвольна и не лишена определенных достоинств. В. К. Тредиаковский, по словам докладчика, сослужил истории лингвистики свою службу, на ощупь формируя верные принципы и выбалтывая глупости, таким образом отрабатывая материал.

Федор Федоров (Даугавпилс) в подробном анализе элегии П. А. Вяземского «Первый снег» акцентировал полемичность ее «осенней» части по отношению к традиционной в русской лирике символике осени. Осенний фрагмент, с его центральным звукообразованием *труп*, по словам профессора, представляет собой трезвую, рациональную тризну. Лариса Ляпина (Петербург) показала разнообразные варианты пространственной и вместе с тем аксиологической оппозиции *близь – даль*, модификации ее членов в русской лирике XIX в. – прежде всего у Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Полонского.

В совокупности воззрений Святителя Игнатия (Брянчанинова) на словесное творчество Иосиф Трофимов (Даугавпилс) сосредоточился на парадоксальном сочетании сознания греховности писательства и уничижительных самооценок («мои маранья»), с одной стороны, и тщательной отделки текстов и очевидного стремления к известности, – с другой. Оправдание своей писательской деятельности о. Игнатий видел в той пользе, которую она могла принести. Отсюда следовали требования серьезности и полезности, предъявляемые к творчеству, – внешне совпадающие с понятиями революционно-демократической критики, но получающие у преподобного Игнатия иное наполнение.

В докладе Геннадия Стадникова (Петербург) рассмотрен образ Польши в ранних дорожных очерках Генриха Гейне. В них обнаруживаются уже сложившимися черты гейневской прозы, отличающие *Путевые картины* от типичного немецкого путевого очерка. Влияние интерпретаций оказывается сильнее, чем само произведение, примером чему в докладе Всеволода Багно (Петербург) послужила традиция романтического истолкования образов Дон Кихота и Дульсинеи. Уподобление страждущему человечеству в письме Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, Катюша Маслова толстовского *Воскресения* как Алдонса, не пожелавшая стать Дульсинеей (на что обратил внимание еще Б. М. Эйхенбаум), миф, пронизывающий творчество Федора Сологуба, – лишь малая доля преломлений образа зачарованной Дульсинеи в русской литературе. При этом последние отголоски мифа о Дульсинее в поздних стихах Сологуба, посвященных А. Н. Чеботаревской, содержат отчетливое самоотождествление поэта с Дон Кихотом, не столь заметное прежде. Мотивы, связанные с образом Дульсинеи, обнаруживаются и, например, в *Чевенгуре* Платонова или в поэме Ерофеева *Москва – Петушки*.

Сильвестрас Гайжюнас (Панявежис – Клайпеда) проследил генезис пражского сюжета о Фаусте в пересечении чешской, немецкой, еврейской традиций, остановился на фаустовских мотивах у Мицкевича и Крашевского, на отталкивании от Гете в чешской литературе (Ярослав Врхлицкий, Алоисий Ирасек, Вацлав Гавел), указал соответствующие контексты латышской литературы (Янис Порукс, Янис Райниса). Андрис Казюкевич (Даугавпилс) в исторической трилогия Генрика Сенкевича выявил модель Польши как идеального пространства, сочетающего в себе компоненты нормативного прошлого и пространства, в котором творится священная история.

Вера Вавере (Рига) дала концентрированный очерк непростых отношений основоположника латышского модернизма Виктора Эглитса с русской культурой и ее представителями (А. М. Ремизов, Д. С. Мережковский, Т. Н. Гиппиус и другие), основанный преимущественно на практически неизвестных архивных материалах. Любопытными наблюдениями о присутствии в прозе Ежи Бандровского русской литературы, – в виде цитат и квазицитат,

упоминаний имен, названий произведений, газет и журналов, обсуждения событий литературной жизни (например, избрания королем поэтов Игоря Северянина), – поделился Ежи Шокальский (Варшава).

Оттенки смысла названия романа Л. Н. Толстого *Анна Каренина* в докладе Веры Кайгородовой (Пермь) усматриваются в ассоциациях, связанных с фамилией Каренина (*кара*, *каре*, *карьера*, τό κάρηνον 'голова'...), и остроумно увязываются с анафоричностью ряда *ан – на – на* и палиндромичностью имени заглавной героини, соотносимыми и с анафорическим слогом романа, и с «палиндромичностью» его эпизодов и персонажей. Сергей Доценко (Таллинн) текстом шедевра Н. С. Лескова опроверг публицистические перехлесты в ряде высказываний А. М. Панченко о лесковском Левше. Выступление Сергея Дауговиша (Рига) продолжило серию докладов и статей ученого, посвященных комментированию рассказа Ф. М. Достоевского «Маленький герой» (см. *Славянские чтения*, вып. I, Даугавпилс – Резекне, 2000; *Philologia. Рижский филологический сборник*, вып. 3, Рига, 2000).

В состав критического издания сочинений А. М. Ремизова, несколько томов которого уже увидели свет, войдет *Петербургский буерак*. Алла Грачева (Петербург) представила историю создания повести, сравнила варианты редакций, охарактеризовала ее замысел и композиционные особенности: *Петербургский буерак* задумывался как фрагмент Петербургского текста и родился на перекрестке традиционной для последнего мифологии и собственной мифологии Ремизова.

Людмила Спроге (Рига) в докладе о портрете в лирике символистов и акмеистов сопоставила стихотворные тексты-портреты Д. С. Мережковского, В. Я. Брюсова, А. А. Блока, Андрея Белого, М. А. Волошина, отметив семантическую маркированность Беато фра Анжелико у К. Д. Бальмонта, Н. С. Гумилева, С. М. Городецкого. Статья Блока «Краски и слова», его собственно детские стихи, столкновение двух кодов, – символистского теургического и «наивного», детского, – в стихах 1905–1906 гг. позволили Владимиру Абашеву (Пермь) сделать вывод о том, что установка на безыскусное и наивное, интерес к детскому и дикарскому вызревал в лоне символизма и прогностически определял направление поисков футуристов. Мария Цимборска-Лебода (Люблин) систематизировала обращения Вяч. Иванова к наследию Блаженного Августина от символистских статей до писем 1930-х гг., предопределенного потребностями концептуального обоснования *Эроса Невозможного*.

Татьяна Царькова (Петербург) выступила со своего рода заметками комментатора к двум стихотворениям А. Д. Скалдина. Выявлено около сотни стихотворений этого, по определению исследовательницы, символиста третьего призыва, более последовательного, чем первые символисты, но именно в стихах, – в отличие от новаторской прозы, что и создает известные затруднения. Андрей Арьев (Петербург) ввел в научный оборот письмо Георгия Иванова, написанное в Риге 7 мая 1937 г. П. М. Бицилли в Болгарию. Должным образом комментированное, оно отчетливо демонстрирует и психологию личных отношений, и ивановскую технику организации собственной известности.

Эдуард Мекш (Даугавпилс) предпринял опыт реконструкции «зимнего» цикла С. А. Есенина (1925), касательно состава и границ которого у специалистов нет единого мнения. В малоизученном романе Юрия Фельзена *Письма о Лермонтове* Ирина Белобровцева (Таллинн) исследовала странности сюжета и взаимоотношений автора,

героя-рассказчика, адресата писем и, разумеется, фетишизированного Лермонтова. Элина Васильева (Даугавпилс) в пространстве Одессы в романе В. Жаботинского *Пятеро* вскрыла черты ретроспективной утопии. С новыми материалами биографии Александра дю Шайла, француза по происхождению, православного по вероисповеданию, игравшего ключевую роль в разоблачении *Протоколов сионских мудрецов*, познакомил известный американский русист Хенрик Баран (Олбани – Москва).

Виллем Г. Вестстейн (Амстердам) противопоставил структуралистский и семиотический подходы к литературному персонажу. В структурализме не нашлось места для анализа персонажа как самостоятельного компонента текста, поскольку персонаж выступает лишь инстанцией, исполняющей действия. Напротив, семиотический метод нацелен на персонаж и его отношения со средой, однако строго ограничивается самим текстом и не обращает внимания на источники информации о персонаже и меру достоверности сведений от автора, от самого персонажа, от других героев. Когнитивная теория фреймов, по мнению голландского ученого, может использоваться для реконструкции образа персонажа, что и было продемонстрировано на примере героя романа В. С. Маканина *Андерграунд, или Герой нашего времени*.

Различные проявления «поэтики коммуникативного эллипсиса» в повести С. Д. Довлатова *Компромисс*, доказал Аркадий Неминущий (Даугавпилс), отнюдь не сводятся к выражению советского двоемыслия. Такое истолкование сужает значение произведения и противоречит реальному его функционированию: связанный с определенным временем и местом памфлет может быть актуальным лишь недолгое время и для читателя той же страны, между тем своеобразный мировой довлатовский бум продолжается. Это подтвердил А. Арьев, в дополнение заметив, что Довлатова особенно любят в Италии, пользуются спросом англоязычные издания, но во Франции его не принимают.

Вида Гудонене (Вильнюс) анализировала образ храма, упоминания святилищ (костел, мечеть, синагога, церковь), их деталей в поэзии Иосифа Бродского. Александр Белоусов (Петербург) обрисовал существеннейшие черты творчества Евгения Шешолина, поэта, трагически погибшего в Даугавпилсе в 36-тилетнем возрасте. Далеко не полное представление о масштабе его таланта дают изданный в Пскове сборник стихов и подборка в журнале *Даугава* (2002, № 1–2).

В занимательной истории функционирования имени *Светлана*, обязанного своим появлением прежде всего балладе В. А. Жуковского, Елена Душечкина (Петербург) подчеркнула, что, при всей его популярности (между прочим, в названиях фрегата, электротехнического предприятия, пансионата), в качестве официального антропонима оно в конце XIX–начале XX в. не могло использоваться и, за редчайшими и не вполне достоверными исключениями, не использовалось. С начала 1920-х гг. оно распространилось первоначально в партийно-советской элите, причем имя уже не связывалось с балладой (исключенной из школьной программы), а переосмыслялось в духе клишированных формул *светлый путь* и т. п. Особую роль в популяризации имени сыграла стихотворная колыбельная С. В. Михалкова «Светлана», явно подразумевающая дочь вождя народов.

Павел Лавринец